

О Пушкинской Академии

В. В. РОЗАНОВ

НАПЕРЕРЫВ вся Россия думает, как еще и еще увенчать своего Пушкина. Италия, страна художеств, давала капитолийское венчание избранникам; смотря на всероссийские сборы к торжеству столетия рождения великого поэта, невольно приходит на ум, что Россия впервые дает избраннику ума и муз что-то похожее на это капитолийское венчание. Ко дню этому готовятся целые города. В газетах появляется известие, что вот «такой-то город» «так-то думает отпраздновать юбилей». И, главное, нет инициатора этих приготовлений; даже нет никого главного в них; нет руководителя. Готовится Россия, готовятся все, и все делается само собою. Это самая замечательная сторона в плетении венка, самая симпатичная.

Да будет позволено сказать два слова об одном особенном увековечении памяти поэта, которое нам приходит на ум.

Если что не идет к Пушкину, то это стих Лермонтова о себе:

*Я знал одной лишь думы власть,
Одну — но пламенную страсть...*

Напротив, Пушкина можно определять лишь отрицательно, т. е. отвечая «нет!», «нет!» и «нет!» — на попытку указать в нем одну господствующую думу, или — постоянно одно и то же, нерассеиваемое, настроение. Монотонность совершенно исключена из его гения; выразимся в терминах, особенно понятных: ему чужда монотонность и, может быть, чужд в идейном смысле, в поэтическом смысле — монотеизм. Он — все-божник, т. е. идеал его дрожал на каждом листочке Божьего творения; в каждом лице человеческого, поймав, он мог или, по крайней мере, готов был его найти. Вся его жизнь и была таким-то собиранием этих идеалов, — прогулкою в Саду Божьем, где он указывал человечеству: «А вот еще что можно любить!»... «или — вот это...» «Но оглянитесь, разве то — хуже?!» Никто не оспорит, что в этом его суть. Чувства гневливости почти отсутствуют в нем. В этом отношении замечателен один отрывок, посмертно найденный в его бумагах; он в нем отвечал на упреки друзей, отчасти и на недоумение врагов, отчего он не отвечал ничего на жестокие критические приговоры, какие ему случалось читать о себе? Оправдание его вполне серьезно и почти пунктуально, но оканчивается припискою, которая в сущности зачеркивает все пункты: «никогда не мог преодолеть в себе смертной скуки подобного ответа». Не буквально, но смысл этот, и он отвечает всему, что мы знаем о поэте. Однако не только поверхностно, но и плоско было бы думать о нем, что он страдал и, так сказать, тонул в какой-то любвеобильности, в вечном пылании положительными чувствами. Эта бенедиктовщина души также была совершенно исключена из его настроения. Нет, — он был серьезен, был вдумчив; ходя в Саду Божьем, — он не издал ни одного «хаха», но как бы вторично, в уме и поэтическом даре, он насаждал его, повторял дело Божьих рук... Но уже выходили не вещи, а идеи о вещах, — не

цветок, но песня о цветке, однако покрывающая глубиною и красотою всю полноту его сложного строения. Так получился «Пушкин», эти «семь томов» обильно комментируемых созданий, где мы находим своеобразный и замкнутый, совершенно закругленный «мир» как «космос», как «украшенное Божие творение». Можно Пушкиным питаться и можно им одним пропитаться всю жизнь. Попробуйте жить Гоголем, попробуйте жить Лермонтовым: вы будете заданы их (сердечным и умственным) монотеизмом... Через немного времени вы почувствуете ужасную удушьяемость себя, как в комнате с закрытыми окнами и насыщенной ароматом сильно пахучих цветов, и броситесь к двери с криком: «простора!», «воздуха!..». У Пушкина — все двери открыты, да и нет дверей, потому что нет стен, нет самой комнаты: это — в точности сад, где вы не устаете.

«...» «Циклос», «круг» его созданий сам по себе, без отношения к историческому народному движению, вполне способен насытить человека и дать ему прожить собою всю жизнь. Скажем более: если Россия в некоторых исключительных своих душах, составляющих нить исторического вперед ее движения, конечно, вечно будет обогащаться исключительностями, — будет искать ударных форм разного в веках, но единичного порознь и в каждую минуту, поэтического и философского монотеизма, — то в заурядных своих частях, которые трудятся, у коих есть практика жизни и теория не стала жизнью, она спокойно и до конца может питаться и жить одним Пушкиным. Т. е. Пушкин может быть таким же духовным родителем для России, как для Греции был — до самого ее конца — Гомер. Вы ищите сказки — он дает вам сказку; вы ищите светской шалости — вот она:

*Младые лета
Отдай любви,
И в шуме света
Люби, Адель,
Мою свирель.*

На каждую вашу нужду и в каждый миг, когда вы захотели бы сорвать цветок и закрепить им память дорогого мгновения, заложить ее в дорогую страницу книги своей жизни — он подает вам цветок-стихотворение. И это не только относительно беспечальных мгновений, но и самых печальных, леденящих душу:

*Итак, — хвала тебе, Чума!
Нам не страшна могилы тьма,
Нас не смутит твоё призванье!
Бокалы пеним дружно мы,
И девы-розы пьем дыханье, —
Быть может... полное Чумы.*

И сейчас — какая перемена тона:

*Безбожный пир, безбожные
безумцы!*

По этому-то богатству тонов, которые не исчерпаны ни обществом нашим, ни литературою, и в себе самих даже не исчерпаемы — «дондеже умрем» — мы и сказали, что Пушкин способен пропитать Россию до мозгиков не в исключительных ее натурах.

Что же это значит? Откуда это богатство? Что это за особый строй души? Критика русская давно (еще с Белинского) его определила термином — «ху-

дожественность». Художник есть тот, кто, может быть, и заражает, но ранее — сам заражается; в отличие от пророка, который только заражает, но — если позволительно перенесение узкого медицинского термина — заражается только Богом; Им слушаем; ему — Он открыт. «И небеса отверзты» — пророку: а художнику вечно открыта только зем-

ЗАБЫТЫЕ СТРАНИЦЫ

ля, и, как это было с Пушкиным, — ему открыта бывает иногда вся земля. Не будем обманываться, что у Пушкина есть «Пророки»; это страница сирийской истории, сирийской пустыни, которую он отразил в прозрачном лоне своей души, как отразились в нем и страницы Аль-Корана:

*О жены чистые Пророка,
От всех вы жен отличны:
Страшна для вас и тень порока.
Под сладкой сенью тишины
Живите скромно: вам пристало
Безбрачной девы покрывало.
Храните верные сердца
Для нег законных и стыдливых,
Да взор лукавый нечестивых
Не узрит вашего лица.*

*А вы, о гости Магомета,
Стекаясь к вечеру его,
Брегитесь суетами света
Смутить пророка моего.
В паренье дум благочестивых,
Не любит он велевечивых
И слов нескромных и пустых:
Почтите пир его смиренней,
И целомудренным склоненьем
Его невольниц молодых.*

И рядом с этою мусульманскою рапсодией — дивный православный канон: *Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать
во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь
и битв,
Сложили множество божественных
молитв;*

*Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падишего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих!*

*Дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже,
прегрешенья,*

*Да брат мой от меня
не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.*

Какая противоположность! Но один и другой тон равно серьезны. То есть истинно-серьезное и оригинально-серьезное в Пушкине было, так сказать, не звуки, которые он ловил, но ухо его. Есть знаменитое выражение, в Апокалипсисе и у Иезекииля, о небесных существах, «исполненных очей спереди и сзади, внутри и снаружи», т. е. существа — как тканями «очей», как полноты «очей». Все «очи, очи и очи», и вот — все существо; может быть — тайна всякого существа, каждого из нас. Тайна эта разгадывается в великих людях. Что такое Рафаэль, как не какой-то всемирный Глаз, человек, ставший Глазом, оформившийся весь в это огромное и необозримое видение, в котором переливались и переплелись земные и небесные краски, земные и небесные тени, штрихи!.. Он все видит и этим только видением он ограничен. Звук он не слышит, не понимает; не понимает же мыслей, или очень ограниченно их понимает. И таков был Бетховен, столь же всемирное и такое же вековечное Ухо. Читатель простит, что я пишу нарицательные имена с большой буквы: до того очевидно, что нарицательное, т. е. общее свойство, стало собственным и личным и именуемым у этих людей. Пушкин был всемирное внимание, всемирная вдумчивость. Не только было бы напрасно искать у него одного господствующего тона, но совершенно очевидно, что этого тона и не было; что он пришел на землю не чтобы принести, но чтобы полюбить: полюбить эту прекрасную землю и, ничем исключительно новым не утолив ее богатств, — скорее вознести ее к небу, и уж если обогатить, то самое небо — земными предметами, земным содержанием, земными тонами. Чувство трансцендентного ему совершенно чуждо, в противоположность Гоголю, Лермонтову, из новых — Достоевскому и

Толстому. Самая молитва, как приведенная: «Отцы пустынники...» — у него всегда феномен, а не ноумен; поэтому рассеивается, а не стоит постоянно; и, в конце концов, —

*Ревет ли зверь в лесу глухом,
Трубит ли рог, гремит ли гром,
Поет ли дева за холмом —
На всякий звук
Свой отклик в воздухе пустом
Родишь ты вдруг.*

Преображенная земля, преобразуемая земля! Не падающие на землю зигзаги электричества, совсем нет! — но какое-то пресыщение изяществом всего, растущего с земли и из земли:

*Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты*

— это стихотворение к А. П. Керн, повторенное в отношении к тысяче предметов, и образует поэзию Пушкина, ценное у Пушкина, правду Пушкина.

*Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.*

И все так же забывал Пушкин, и на этом забвении основывалась его сила; т. е. сила к новому и столь же правдивому восхищению перед совершенно противоположным! Дар вечно нового (перед своим прежним) в поэзии, именно необозримое в поэзии много-божие, много-обожение, как последствие свободы ума от заповедей монотеистичной и немного монотонной, по крайней мере в поэзии монотонной: «Аз есмь Бог твой... и не будут тебе инии боги...». Ведь забывать, — это и для каждого из нас есть условие вновь узнавать <...>.

Но довольно о Пушкине и несколько слов — об его увенчании. Это — Академия Изыщных Искусств, — которую мы хотели бы, чтобы она наименовалась Пушкинскою Академией.

В самом деле, в России нет ее, России нужна она. И нет имени, нет памяти, нет гения, к коему она так приурочивалась бы, как к Пушкину. Пушкин — это земное изящество, это — универсальное изящество. И только. Но изящество, действительно возведенное к апофеозу, — отбывавшее от внешней красоты и приближавшееся к внутренней, к доброте и правде:

*Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя!
Одна в глуши лесов сосновых
Давно, давно ты ждешь меня.
Ты под окном своей светлицы
Горюешь, будто на часах,
И медлят по минуте сплести
В твоих наморщенных руках.*

В самом деле, в одном отношении мы можем назвать Пушкина самым красивым во всемирной литературе поэтом, потому что красота у него сошла вглубь, пошла внутрь. Тут две тысячи лет нового углубления, христианского развития сердца, но пошедшего не специально в религию, а отраженно бросившего зарю на искусство. И в самом деле —

Голубка дряхлая моя

— о няне старой: почему это не есть Небесная Афродита, христианская Афродита, которую предчувствовал Платон, сумрачно говоря «нет! нет! нет!» по отношению к своим, к афинским, смазливый и ограниченным богам. Земные боги умерли; сошли небесные боги.

Академия Изыщных Искусств, — в Петербурге ли или еще лучше в Царском Селе, — это питомник изящества и всяких изящных дисциплин, без всякого ограничения; питомник, в который вой-

дя великий поэт повторил бы собственный стих:

*...весел вхожу, ваятель,
в твою мастерскую:
Гипсу ты мысли даешь,
мрамор послушен тебе:
Сколько богов, и богинь, и героев!..
Тут Аполлон — идеал,
там Ниобея — печаль...
Весело мне.*

Мы воспользовались стихом, чтобы весело очертить радостную мысль собственным словом художника <...>

Конечно, мы даже и отдаленно не разумеем здесь Школы Живописи или Ваяния в их изолированности, что все уже есть, — хотя, конечно, ничему не помешает параллелизм в них или к ним. Есть изящные вещи, но есть еще само изящество, коего и живопись, и ваяние суть только факультеты. И как помимо Медицинской Академии есть Университет, — так может быть и настоль же нужна около специальных художественных школ Академия Изыщных Искусств: которая была бы столько же академиею архитектуры, как и академиею вокального совершенствования, музыкальных упражнений, равно чтений из Магарабарты и Рамааны, и все прочее. На Западе давно есть наука искусства, история искусства; искусство вообще есть нечто разнородное с наукой, есть даже огромная поправка к науке, может быть, — другой мир, великое ограничение разума и его претензий. Для наук — пусть недостаточно — но все же много у нас сделано. И если не ничего, то чрезвычайно мало сделано для искусства. Даже нельзя скоро найти и, может быть, даже вовсе нельзя найти в России места, куда придя, можно было бы совершенно быть уверенным, что вот здесь узнаешь о плодах работ Винкельмана или о результатах критики Лессинга. «Критики»... Какая богатая область у нас, в нашей собственной истории и развитии! — но кафедры истории русской критики, или кафедры истории критики всемирной, или — теории критики, нигде в России нет. Вот — для проектируемой нами Академии — ряд кафедр, которые достаточно назвать, чтобы почувствовать, как они нужны, как они уместны в России.

Наш театр... разве он не пережил эпоху Оффенбаха, и разве ее допустила бы серьезная, доминирующая в стране школа, как именно Университет Изыщного, с свободным карающим бичом в руке? Какова роль Шекспира на нашем театре? Что мы успеваем сделать для народного театра? Вы видите, что не только кафедры на этот зов, на эту мысль бегут, но и бегут темы, т. е. нужды дня, и, сбегаюсь на улице, так сказать, роют уже фундамент нового здания, на фронтоне которого были бы

*И мраморные циркули и лиры,
И свитки — в мраморных руках.*

И наряду с нею, этою воспоминаемою красотою, —

...арфа серафима,

которой умел внимать

В священном ужасе поэт.

Академия Изыщных Искусств непременно стала бы авторитетом изящества, критиком в изящном. И когда все виды красоты так глубоко падают теперь, и Афродита уличная решительно не дает прохода добрым людям, даже обывателям, сторонним искусству, — право же, в такое время нелишне два раза «отмерять» прежде, чем решительно и строго отказать на просьбу «о неуместной затее»...

Да встретит слово это добрую мину-ту...

1899 г.

Лит. газ. - 1989. - 7 июня (№23) - с. 11
К 190-летию со дня рождения А. С. Пушкина